

Воспоминания об отчем доме

Детство в Ульме

Сейчас, когда я пишу эти воспоминания, передо мною снова проходят годы и десятилетия, богатые личными переживаниями и историческими событиями, исполненными динамической силы. Нестройная вереница лет. Они образуют крутую дугу, которая ведет от безмятежной поры юности в Ульме и Мюнхене — через ужасы Первой мировой войны, через годы тяжелой борьбы за существование, через мое решение вернуться на действительную военную службу в ноябре 1934 года — ко Второй мировой войне. Высшая точка этого дугообразного пути и поворотный пункт в моей жизни — битва на Волге, Сталинград.

Вновь и вновь встают в этих воспоминаниях образы солдат. И первым по порядку стоит среди них мой отец, военный судья в частях баварской армии. Я как сейчас вижу его перед собой в Ульме, в городе, где я 12 марта 1898 года родился; вот он садится в седло и скачет верхом в утреннюю рань по гласису, который тянется вдоль старой крепостной стены.

Мне вспоминается мать, я вижу ее, склоненную над какой-то продолговатой корзинкой; мать обтягивает ее изнутри светло-розовой тканью, потому что у нас, может быть, появится сестричка. Правда, попадет она в дом не

через то — с желтыми стеклами — окно, в которое залетает аист, когда приносит маленьких мальчиков, но уж как-нибудь она найдет сюда дорогу, — с таинственным видом говорили взрослые.

Вижу, как сверху спускается по лестнице наш денщик Йозеф, неся только что вычищенные ботинки и ботфорты; слышу, как он рассказывает нашей служанке, крестьянской девушке из деревни в долине Иллера, очень страшную, должно быть, историю о драке, которая, говорят, произошла ночью между баварскими канониками и прусскими саперами в одной из маленьких гостиниц на берегу Блау.

Я точно не знаю, почему отец из Вюрцбурга, где он по окончании юридического факультета получил сначала чин аудитора, перевелся в баварскую Швабию — в Ной-Ульм. Но одно обстоятельство имело, бесспорно, решающее значение: его любовь к родным местам. С ранней юности он ежегодно неделями жил в доме прадеда, в Дисене на Аммерзее, известном в фольклоре под названием Байер-Дисен.

Его пленило альпийское предгорье в Вессобруннер-винкеле, раскинувшееся вокруг Хоэн-Пейсенберга. Он исходил пешком каждое село, знал все болотные кочки, заброшенные монастыри и придорожные распятия от Хейлигенберг-Андекса до Ландсберга на реке Лех, от Мюнхена до Шонгау и, разумеется, все большие и малые горные вершины вокруг Обераммергау. Во Франконии¹ он так никогда и не освоился, хоть и женился на нашей матери в замке Грауберг, что в Мильтенберге-на-Майне, а мой дед по отцу был обер-бургомистром Вюрцбурга. Дед мой в 1858 году окончил университет в Вюрцбурге, там и поселился, став нотариусом, а затем был популярным и весьма заслуженным муниципальным деятелем.

Нам, мальчишкам, нескоро стало известно, где находится место службы нашего отца. Мы знали только, что

¹ Северная Бавария.

для того, чтобы туда попасть, нужно переправиться через Дунай на пароме. У парома была пристань ниже Вильгельмсхее. Нам сверху хорошо были видны фигурки людей в маленьком плоском суденышке; различали мы их и когда они, уже на другом берегу, расходились по пересекающимся дорожкам вокруг домов, между садами у речной дамбы.

Святой Георгий — мой патрон

К лучшим воспоминаниям этих кратких лет относятся частые прогулки и непродолжительные поездки за город с родителями, которые уже очень рано стали брать нас с собой, брата Роберта и меня. Отец всегда разбивал эти экскурсии на небольшие переходы, так что мы в перерывах могли отдохнуть и не слишком уставали. Если наш путь лежал в гору, к крепости, то либо до подъема, либо после делали привал у дяди Шерера, пожилого полкового врача, с которым мы впоследствии встречались в Мюнхене; а иногда мы несколько часов сидели в монастырском саду в Оберельхингене, поглощая молоко и хлеб с маслом. Этот маршрут часто соединялся с заходом к портному, который шил отцу штатское платье, переделывал жилеты и брюки и даже перешивал из них коротенькие штанишки для нас, мальчиков.

В домике этого портного, крохотном и узком, точно клин, накрепко вбитый между широкими фасадами каркасных строений, было только две каморки, одна над другой: тесная спальня и кухня. Подмастерья, работавшие в верхнем этаже дома, сидели на длинном, похожем на стол помосте, подле которого в полу была просверлена большая круглая дыра. Через эту дыру подмастерья удобным образом могли спускаться к мастеру вниз и поднимать вверх большие портняжные ножницы, рукава, штанины, ткань для подкладки. Когда рабочий день подходил к концу, подмастерья сметали в эту дыру

все, что накопилось вокруг них за день: лоскутья, клочья ваты, комки конского волоса. Начиналась перепалка: мастер зычно ругался, тыча в дыру железным метром, стараясь остановить поток мусора, но тщетно.

Почему бы и нам не завести такую дыру в детской над столовой или прямо над обеденным столом? Вопрос естественный для мальчуганов, которым до всего было дело, которые постоянно пытались вмешиваться в разговоры взрослых и в своем радостном стремлении все превращать в игру готовы были подражать чему угодно.

У портного висела на стене картинка с изображением святого Георгия — в латах и с копьём; вот только лошадка у него была непомерно маленькая, будто игрушечный конек-качалка, поднятый на дыбы. Мы были без ума от этой картинки. В один прекрасный день отцу удалось после недолгого торга купить ее за несколько талеров у портного. Случилось это, должно быть, незадолго до моих именин в 1902 или 1903 году. 1 ноября, в праздник всех святых, картинка стояла на моем столе с подарками. Потом она все годы висела над моей кроватью даже тогда, когда я давно вышел из детского возраста, в 1915 году, когда я пошел добровольцем на войну. Мой брат Роберт завидовал мне, и даже очень, но картинку с изображением святого Роберта мы нигде не видели, поэтому он и не получил такого подарка.

Оказывается, как я узнал тогда, на свои именины, мой настоящий патрон — святой Георгий, его именем я и был наречен. Второго имени у меня и не было бы, не родился я случайно в день рождения тогдашнего принца-регента Луитпольда, как нарочно, в тот самый час, когда до Вильгельмсхее донесся гром салютов из Ной-Ульма. В этот день мой дед почти всегда бывал в гостях у принца-регента, который ежегодно приезжал из Мюнхена в вюрцбургскую резиденцию праздновать свой день рождения на родине. Говорят, будто дед мой был очень горд, получив возможность сказать прин-

цу-регенту, что его, Штейдле, младшему внуку дали имя Луитпольд. Да и родители мои, несомненно, этим гордились, и мой отец говаривал, что я должен стать «луитпольдским канониром» или «лайбером». «Лайберами» для краткости называли в народе королевско-баварский пехотный лейб-гвардейский полк.

Шалости

Мы с братом в эти ранние годы дополняли друг друга как нельзя лучше. Зачинщиком был то один, то другой, в зависимости от обстоятельств или темперамента. Когда дело шло о каких-нибудь дерзких шалостях, задавал тон чаще всего я — и получал затем положенную трепку.

Как далеко уходят в глубь прошлого эти воспоминания детства? Что и вправду запечатлелось в сознании? Что из рассказов родителей или родственников воскресает, преображенное игрой фантазии, и воспринимается нами как нечто непосредственно нами самими пережитое, ибо наши собственные впечатления сливаются с подлинно бывшим, о котором мы знаем только понаслышке? Думаю, что все происходящее в самом раннем детстве только тогда остается в памяти на третьем или четвертом году нашей жизни, если это событие вызывает потрясение или шок в жизни ребенка.

Дом в Ульме, где родились мой старший брат и я, мне знаком только по внешнему виду; внутренность дома я знаю по рассказам родителей, особенно моего отца, который до глубокой старости сохранил свойственную ему черту: умение любовно, вплоть до малейших красочных подробностей описывать увиденное. Случалось ли нам идти с Мюнстерплац или из клуба, отец каждый раз, когда мы за руку с ним проходили по Хиршгассе мимо родного дома, непременно здесь останавливался. Особенно сильное впечатление производила на нас украшавшая дом большая голова оленя с мощными рогами

посреди орнамента с множеством завитушек. Нас всегда радовало, что немало прохожих внимательно разглядывали этого оленя. А история об аисте, которая чаще всего вспоминалась именно перед домом, где мы родились, казалась нам здесь тоже наглядно убедительной, раз на высоком шпиле огромной кровли собора сидит воробей — эмблема Ульма, — держа в клюве настоящую балку, будто соломинку.

Так вот шагали мы — молодцевато и почтительно — мимо этого дома, зная, однако, что там у некоего дядюшки Лаумайера продаются печки, а за углом, в кондитерской, — шоколадные пирожные с кремом, которым можно сколько душе угодно мазаться, хоть с головы до ног. Прогулки нередко кончались для нас слезами и радикальной чисткой, а родители давали клятву никогда больше не ходить в это искустительное кафе с нами, детьми; правда, клятву свою они никогда не выполняли, ибо мамы тогда, как и ныне, тоже не прочь были полакомиться. А приводило это к таким же последствиям, что и сейчас. Не хочу преувеличивать, но мы, мальчишки, лет с пяти потешались над тем, как отец зашнуровывает в корсет чуть-чуть излишне пышные формы матери; о, этот гигантский корсет — от шеи до места пониже спины, о, эти шнурки длиной в километр. А отец обливается потом под своей повязкой для усов, а мать уговаривает его шнуровать дальше, да потуже.

Жили мы тогда уже на Променаде, 30, в доме, который в обиходе звали попросту «Бюргле»¹ — за его эркер, маленькую выступавшую башенку и романтический вид, напоминавший Средневековье. Но прекрасней всего в «Бюргле» был большой сад на верхней террасе. Ходили в него прямо из столовой со второго этажа. Под этим садом помещалась мастерская дядюшки Хинкеля, который был органичным мастером и делал фисгармонии. А мы

¹ Уменьшительное от слова «Burg» (нем.) — крепость, крепостца.

наверху играли на солнце, чувствовали себя вольготно между небом и землей, поливали последние отцветшие комнатные растения, которые выставляли на свежий воздух. А в жаркие дни мы с разрешения старших даже купались — совсем нагишом — в стиральной лохани. Такие дни были для нас праздником, мы говорили: «Вот мы и на даче». Наверху у нас всегда гулял ветер; белье здесь быстро просыхало. Развешивая цветные и белые вещи, мать непременно повязывалась платком, и концы его разлетались по ветру. Вот тут-то нам и случилось впервые услышать слово «веснушки». Это было ужасно смешное слово, мы переиначивали его на все лады, без конца тараторили, как дразнилку, и даже пели:

— Весна, весна, веснушечка, весна, весна, веснушка...

И помирали со смеху. А услышали мы это слово, когда мать однажды вышла без платка и отец предостерегающе крикнул ей вслед:

— Веснушки!

Он, как видно, считал, что ей неприлично иметь веснушки.

А первую в жизни порку задали нам, когда мы накидали песку в мастерскую дядюшки Хинкеля и залили ее водой. Когда же запас воды у нас кончился, мы прибегли к собственным природным ресурсам. Вот тогда и разразилась над нами гроза. Мать сняла с нас штаны и основательно нам всыпала. Дядюшка Хинкель грозил всяческими неприятностями. Отец, вернувшись под вечер со службы, поспешил с нами в мастерскую. Горько сокрушаясь и плача, мы лепетали: «Больше не будем». Пожилой мастер, качая головой, демонстрировал перед отцом всевозможный, якобы нанесенный нами ущерб — для того, наверное, чтобы нас запугать. К счастью, листы ценной фанеры не были «поражены». Затем он велел нам подойти к недоконченной фисгармонии и окинуть взглядом устройство этого маленького чуда мастерства,

с изумительными валиками и трубами, штифтами и мехами. Нам открылся новый мир. Теперь мы уже в состоянии были представить себе, что происходит в органе, который мы почти каждое воскресенье ходили слушать — как обычно, за руку с отцом, — на концертах в соборе между 11 и 12 часами утра.

Но после этого хождения в мастерскую в нашей детской появилось еще кое-что: чурки и щепы, мучной клейстер, горшок для клея, опилки, проволока и гвозди; там началось увлечение рукоделием, которое не кончилось и поныне.

Мы, мальчишки, конечно, часто играли в солдаты. На стенах в прихожей висели крест-накрест сабли, старинные и современные ружья. В углу стояли две корзины для картечи, на наш взгляд, изумительно сплетенные. Отец купил их, когда армейская часть получила новое снаряжение. Разумеется, мы жалели, что в корзинах нет пуль и пороха.

Была еще одна вещь, для нас особенно притягательная. В нижнем шкафу лежал револьвер, один из тех очень тяжелых, основательных револьверов с барабаном, которые еще до Первой мировой войны были заменены пистолетами с обоймой. Имелись и патроны к этому револьверу, но их от нас, детей, прятали.

Вошло в наш детский обиход и слово «дуэль», которое мы усвоили из разговоров взрослых, хоть мать и бросала на отца строгий взгляд, когда он за столом или в саду со свойственной ему необыкновенной живостью начинал, увлекшись, рассказывать о событиях, случившихся у него на работе. Разумеется, мы играли в дуэль. С течением времени мы узнали всю шкалу наказуемых в армии проступков и преступлений.

В Мюнхене

Важным событием детства был переезд в 1905 году из Ной-Ульма в Мюнхен. Несмотря на развитую в Ульме промышленность и стоявший там гарнизон, это был ти-

хий, уютный, типично баварский городок. Мюнхен же был большим городом искусства, пользовавшимся мировой славой.

Кто только не жил в Мюнхене — постоянно или хотя бы недолго! На рубеже веков центром немецкой духовной культуры считали не Берлин, а баварскую столицу: здесь обрели свою родину авангардистские журналы «Югенд» и «Симплициссимус», мужественный книгоиздатель Альберт Ланген, политическое кабаре «Одиннадцать палачей» с известной эстрадной певицей Марией Дельвар. В Мюнхене жили тогда Гальбе, Даутендей, Ведекинд, Тома; позднее — Георге, Вольфскель, Рильке, Рикарда Гух, Томас Манн. В Мюнхене создавали свои произведения Бюлов, Лист, Вагнер; за ними следуют Рихард Штраус, Арнольд Шенберг. В Мюнхене нашел себе пристанище «Голубой всадник», объединение экспрессионистских художников, таких как Кандинский, Габриэла Мюнтер, Франц Марк и Август Макс. Способствовали громкой славе университета и Баварской академии такие ученые, как Макс Петтенкофер, Генрих Вельфлин, Карл Фосслер.

Мюнхен был богатый, интересный, веселый и красивый город. Мы скоро нашли путь в среду художников и ученых, ведь Омштрассе — на той улице находилась наша первая квартира — граничила непосредственно со Швабингом.

Влияние Мюнхена, города искусства, сразу же после переезда сказалось на нашем быте: отец модернизировал всю домашнюю обстановку. Вооружившись маленькой пилкой, он аккуратно отпиллил все шишечки и резные украшения на своем секретере. Колонны с волютами, вычурный стеной орнамент, тяжелые плюшевые портьеры — вся эта угрюмая роскошь периода грюндерства теперь устарела. Требовалось, чтобы все в доме было «стильным».

Нам показали дом на Шеифельдерштрассе, почти что без окон, на фасаде которого было фантастическое леп-

ное панно, на наш взгляд, совершенно неудобопонятное. Нам сказали: это стиль модерн, югендстиль¹. Мы решили, что эта штука имеет какое-то отношение к детям. Только позднее мы стали понимать, что под этим словом подразумевается определенная эпоха в истории искусства, тесно связанная с именами Уильяма Морриса и Анри Ван де Вельде.

Но когда отец снова водворил у себя свой письменный стол, книжный шкаф и этажерку с папками, старые вещи опять, к счастью для нас, оказались на местах. Они пленяли нас сызмальства, и мы тайком — потому что это нам запрещалось — играли ими. Было там бронзовое пресс-папье: баварский мушкетер в военной форме 1866—1870 годов с примкнутым к ружью штыком. Лежала эта фигурка солдата, будто прицелившись: изумительная игрушка — правда, ружье со штыком мы, играя, не раз сгибали то в одну, то в другую сторону. А еще были там миниатюрные бюсты Гёте и Шиллера, деревянная шкатулка для писчей бумаги и самурайский кинжал для харакири, в ножнах, с чудесной резьбой, залитой японской эмалью; внутри ножен лежали еще палочки для риса и маленький ножичек. Кинжал подарил отцу «дядя» Ониши, судья японской армии, который когда-то приезжал на несколько недель в Ной-Ульм, чтобы под руководством отца изучить основы германского военного права.

Отец всегда считал, что его профессия является делом большого научного значения. До Первой мировой войны он работал в сотрудничестве с одним из своих ближайших друзей, военным судьей в Раштадте Дитцем, над реформой Военно-уголовного кодекса. За эти получившие признание научные заслуги отец был переведен в Вер-

¹ В Германии стиль модерн — Jugendstil — получил название в 90-х годах XIX века по заглавию мюнхенского авангардистского журнала «Jugend» («Юность»).

ховный военный суд в Лейпциге, но грянула Первая мировая война, и ему так никогда и не пришлось занять этот пост. Его бескомпромиссная позиция, безоговорочно осуждавшая военные преступления Германии, навлекла на него травлю и всяческие нападки. Зато он мог на закате дней с чувством глубокого морального удовлетворения сказать, что ни разу в жизни не вынес смертный приговор.

Швабинг

Перед нами открылся мир новых впечатлений, когда в 1910 году мы переехали в приобретенную родителями маленькую виллу у Бидерштайнерского парка. Жизнь в наемных квартирах миновала. Стали редкостью обязательные семейные прогулки по субботам и воскресеньям. Кончился постоянный надзор над нами отца, дяди, тети, гувернантки или няни.

Теперь мы гоняли где только вздумается: в сонном, заглохшем парке Бидерштайнер с его маленьким озером, заросшим камышом, и в Айсбахе, а оттуда забирались наверх, к «Аумайстеру», через проломы в стене или в ограде, окружавшей сад замка, где жил один из «спятивших» герцогов.

Швабинг представлял собой особый мир. Хотя он еще не стал в той мере, как сейчас, местом промысла для заведений, обслуживающих иностранных туристов, от Швабинга уже тогда, в наше время, отдавало немного «haut-gout»¹; от него веяло разнuzданностью страстей, богемой, своеобразием артистического быта и любовных отношений (а это было самое главное!).

«Непутевые люди», — говорил о них не без легкой злости обыватель-мюнхенец, разумея под этим все, что нельзя было втиснуть без околичностей в рам-

¹ Пряным душком (*фр.*).

ки бюргерского уклада, будь то уклад жизни трудолюбивого ремесленника, обеспеченная жизнь рантье (каковым он стал: с помощью ловких спекуляций по продаже и купле домов, а теперь и малость взвинтил квартирную плату), будь то, наконец, мир «вышедших в люди», мир богачей, которые «сделали» такую уйму денег.

Однако Швабинг был не только пристанищем богемы, «непутевого люда». Встречались там закоулки и люди, словно написанные кистью Шпитцвега: будто грезящие наяву, чуть старомодные, чудные, разумеется, но милые.

Напротив нас жил старый бондарь Бригль. Он еще сам делал клепки, связывал обручами бочки и стиральные кадки, к тому же имел такой набор соблазнительных инструментов, о каком ребята могли только мечтать. Его старшего сына, бледного, узкогрудого, мы редко видели днем — он в это время спал. Работал он на Зендлингерштрассе печатником в «Мюнхнерпост», которую бюргеры в насмешку прозвали «развесистой липой», ибо это была газета социал-демократической партии.

Рядом с бондарем жило семейство Хашер. Особенно интриговала нас табличка на двери: «Акушерка». Что бы это могло значить?

Оба домика так и просились на полотно. Один — с остроконечной, крытой дранкой крышей, другой — с плоской, итальянской; один — выкрашенный в бирюзовый, другой — в розовый цвет; и оба — снизу доверху — увитые диким виноградом. Прямо напротив них, в старинном крестьянском доме, жила на свою ренту тихой и замкнутой жизнью фрау Руланд с сестрой и ее дочерью; девушка эта была писаная красавица, и ей позволялось только по воскресеньям выходить из своего всегда наглухо запертого одноэтажного дома, когда она шла в церковь под бдительным надзором матери. А на углу Хаймхаузер и Бидерштайнерштрассе стоял большой ста-

ринный дом стекольного мастера Ратгебера с ярким гербом цеха стекольщиков.

За домами улица, разветвляясь, выводила на пригорок, к старинной швабингской церковке.

Все это уже ушло или уходит в прошлое. Стоит тишина на старом швабингском кладбище, где тогда был даже склеп с черепами.

Олаф Гульбрансон

Из наших окон виднелся дом с садом Олафа Гульбрансона. Ходил он у себя месяцами голый до пояса, в коротких штанах и сандалиях, что, по нашим нынешним понятиям, разумеется, вполне допустимо на отдыхе, но тогда считалось рискованным и воспринималось как вызов общепринятым нормам. Изо дня в день до поздней осени появлялась в саду фигура Гульбрансона — широко известная по его собственным карикатурным автопортретам, — необыкновенно тучная, с круглой как шар лысой головой, багрово-коричневой от загара. Приманкой для нас были его павлины, сидевшие на ступеньках или на балюстраде террасы: крик этих павлинов разносился по всему кварталу — поэтому они и стали нашей излюбленной мишенью для стрельбы из луков и рогаток.

Но еще большее любопытство вызывал в нас сам Олаф Гульбрансон, известный своей язвительной иронией, своими обличительными выступлениями против трона и алтаря, против всего, что имело какое-либо касательство к правящему классу. Мой отец, часто воспринимавший это как прямое оскорбление его глубоко религиозного чувства, знал, однако, во всех тонкостях «Симплициссимус» и работы Гульбрансона. Он способен был искренне волноваться из-за безнравственного, как он выражался, характера и разлагающего содержания отдельных статей.

На нас, мальчишек, это производило некоторое впечатление. Правда, мы давно уже читали от корки до корки, когда это удавалось, каждый новый номер «Симплициссимуса», в нашем классе он передавался под партами из рук в руки; кроме того, мы отлично знали, на каких стендах вывешивается «Симплициссимус» полностью, и, пробравшись сквозь толпу любопытных, находили время как следует в него вчитаться. И все же в том, что автор этих «пасквильных» рисунков — наш сосед и мы с ним, так сказать, через забор чуть ли не на «ты», было для нас нечто необыкновенное.

Однажды отец принес домой пущенное кем-то в оборот выражение: «симплициссимусская культура». Над смыслом его стоило задуматься: это было не просто красное словцо, а нечто такое, что вызывало у нас острое любопытство, особенно когда мы слышали его из уст отца во время горячего спора о настроениях среди молодых офицеров.

В вопросах, как больших, так и малых, связанных с его жизнепониманием, отец был крайне педантичен и консервативен; в силу своей прямолинейной последовательности и бескомпромиссности он представлял собой, вероятно, единичное явление даже среди военных юристов, которым не мешало бы придерживаться таких же принципов. Согласно убеждениям отца, основой Баварии была монархия и король есть божьей милостью король. Ведь даже кайзеру пришлось однажды посетить Мюнхен! В этот день мы, школяры, стояли на улицах; самое любопытное, с нашей точки зрения, было то, что у кайзера одна рука короче другой, но вся эта помпа произвела на нас известное впечатление еще и потому, что почести оказывались кайзеру, который молится какому-то другому богу, во всяком случае не католическому.

Разумеется, отец и дома строго придерживался общепринятого порядка и правил морали; он чувствовал себя неловко, когда мы, провоцируя его своими любопытными вопросами, пытались проникнуть в тайну кое-каких «щекотливых» проблем; обсуждать их он считал возможным

только «с глаза на глаз». Легкомыслие здесь неуместно, мы ведь не богема — к этому примерно сводился его ответ.

«Симплициссимус» был в глазах отца просто носителем легкомыслия. Не только из-за сатиры, направленной против трона и алтаря, — против основ старой Баварии, по представлению отца. Еще больше возмущала отца фривольность, с какой изображалась жизнь светских людей, например, в скабрёзных рисунках Эдуарда Тёни, посвященных полусвету.

Но особенный гнев отца вызывало отношение к этому офицерского корпуса. «Симплициссимус» был излюбленным чтением в офицерских клубах. Остроты «Симплия» пересказывались при каждом удобном случае; собеседники наслаждались смелыми остротами, их забавляло, когда ловко пущенная в оборот придворная сплетня бросала свет на любовные интриги в сановных и театральных кругах, когда дерзко высмеивались все эти закостенелые генералы и князья церкви. Но самое постыдное, с точки зрения отца, было другое: люди смеялись над собой, сами этого не сознавая. Тогда вообще не понимали, что здесь речь идет о более чем справедливой критике общественных отношений того времени, что «Симплициссимус» ратовал за коренные социальные перемены. Но общество хотело забавляться, вот его и забавляли.

Выражение «симплициссимусская культура» было для моего отца символом беспутства и легкомыслия касты, к которой принадлежал и он; она отвечала смехом на критику одряхлевшего режима, не находя в себе больше моральной силы для того, чтобы изменить себя самое и общественные условия.

Диссен-на-Аммерзее

К лучшим воспоминаниям моего детства принадлежат каникулы, проведенные мною в доме прадеда в Диссене-на-Аммерзее. До недавних лет он стоял еще не тро-

нутый, в своей простой и гармоничной целостности, на Банхоф-штрассе, между участком рыбака Шварца и владением семьи Гребель, всем своим видом свидетельствующий о богатстве и бюргерской гордыне. Георг Гребель был профессиональный и потомственный — в четвертом поколении — кожевник, член муниципалитета, церковный староста, которого мой отец называл запросто — кум Жорж.

Дом Гребелей, с горделивым шипцом на фасаде, был построен лет двести назад; на высоком его чердаке помещалось четыре склада, о чем говорило наличие окон и слуховых окошек, а на втором этаже находились жилые комнаты огромных размеров, все подряд отделанные лакированными панелями. На первом этаже расположены были мастерские дубильщиков, против широкого поперечного коридора, который шел через весь дом до примыкавших к зданию коровников. Мастерские дубильщиков были темные, с запотелыми стенами, из года в год покрывавшимися испарениями, с застоялыми лужами на шероховатых плитах каменного пола. Здесь кожевники солили шкуры, мездрили и на особых козлах сгоняли с них волос; здесь под строгим надзором дубильщика-подмастерья, весьма рьяного, и под надзором самого мастера эти парни проходили школу по старинным канонам ремесла. Все это было нам ново и интересно: ведь ни в одном городе такое не увидишь.

Дом отстоял далеко от улицы, а перед ним были круглые дубильные чаны, которые в зависимости от стадии брожения то выпускали смрад, то переливались, выплескивая пену, то тут же опорожнялись рабочими: сначала выбрасывался слой дубильных веществ, потом слой шкур, а затем все начиналось сызнова, и так беспрерывно. Все это происходило под нашим окном, ибо дом красильщика, как прозвали в округе жилище нашего прадеда, стоял перпендикулярно к улице и наши слуховые окошки выходили прямо во двор дубильни.

Впоследствии отец рассказывал мне, что он испытывал несколько сложное чувство, когда впервые ввел свою молодую жену в родной дом ее свекра здесь, в Диссене: очень уж велико было различие между жизненным укладом и происхождением его и ее семей.

Моя мать родилась в замке Грауберг; была она дочерью офицера, служившего в штабе турецкой армии. Султан возвел его в звание дворянина; моя мать выросла в такой среде, где почти повседневно соблюдался этикет, хоть и не очень строгий: так, само собой разумелось, что кушанья за столом разносит слуга в ливрее. Гостиные были роскошно обставленные, с горками для фарфора, хрустальными люстрами, зеркалами и портьерами, в полном соответствии со вкусами эпохи грюндерства — словом, с нашей сегодняшней точки зрения, донельзя загроможденные вещами и чванные. При доме имелись конюшни с лошадьми для собственного экипажа и собственный кучер, а в приходской церкви были именные кресла на хорах, где по воскресеньям сидели обитатели замка, сбоку от главного алтаря; в самом же замке не прекращалась суэта — непрерывно приезжали или уезжали друзья, гости.

Разительный контраст этой жизни представлял собой быт в «доме красильщика», с его крестьянской невзыскательностью и простотой, где комната в лучшем случае освещалась одной керосиновой лампой, если не восковыми свечами под стеклянным колпаком, домашним способом изготовленными; а тут еще этот приторный, нередко всепроникающий запах квасцов от соседей справа и запах рыбы от соседей слева, молодого и старого, кумовьев Шварцев. В ненастные ветреные дни они выходили с вершей или неводом на озеро ловить рыбу у холма между Сент-Альбаном и Вартавейлем или в излучине за Шведенинзелем, неподалеку от впадения в озеро реки Аммер.

Напротив нашего дома устроена была плотина, с верха которой сбегал мельничный ручей. Там находилось машинное отделение с большим колесом, приводившим в движение механизмы в дубильне. По тем временам такое устройство было техническим прогрессом, так как к этим машинам впервые были подключены даже электромоторы. Таким образом, нам довелось увидеть угольные лампочки накаливания, светившие слабым, желтоватым, то затухающим, то разгорающимся светом.

Все это было для нас ново и чудесно. Мы обрыскали весь дом, при этом за спиной наших старых тетушек; не укрылись от нас ни их собственные, бдительно охраняемые, заповедные и затхлые горенки, ни заброшенные помещения красильни, имевшие такой вид, будто в них накануне выходного дня наскоро навели порядок и снова расставили в ряд красильные чаны. Вероятно, три почтенные старые девы — Марэй, Бабетта и Мехтгильда, — потрясенные горем, оставили все как было, когда их отца — тогда ему перевалило за восемьдесят — застигла смерть во время работы.

А пошарить по этим комнатам, право же, стоило! Если же нас заставляли врасплох там, где нам быть запрещалось, мы всегда находили подходящую отговорку, чтобы оправдаться. Я нашел письма, написанные в те времена, когда на конвертах можно было еще увидеть почтовый штемпель Турн-и-Таксис¹, подозревал всюду «Шварце Айпзер», пытался разобрать нескладные, по нашему детскому разумению, почерки, нашел диафонические картины времен моего прадедушки, а однажды — даже серебряные швейцарские часы; позднее их подарила мне тетя Марэй — я был ее любимцем. Часы эти благополучно пережили обе войны и поныне так же точны, как и шестьдесят лет назад.

¹ Турн-и-Таксис — старинный дворянский род в Германии и Австрии; создав сеть почтовых контор, представители его организовали и упорядочили почтовое дело в Европе в XVIII веке.

Пяти лет от роду тетя Марэй упала с гумна, и сначала ей не была оказана настоящая медицинская помощь, а потом ее неправильно лечили. Поэтому она всю жизнь ходила на костылях. Женщина блестящего ума, она интересовалась всем, что делалось на свете, никакая книга не могла укрыться от ее внимания. Большую часть своей жизни она проводила в кресле, которое летом, если позволяла погода, ставилось перед входом в дом. Она читала, вязала часами, отчего некоторые пальцы у нее были совершенно деформированы. Рядом с нею всегда сидел маленький шпиц — должно быть, на протяжении десятилетий сменилось много этих собачек, — но шпиц, знакомый нам в детстве, чрезвычайно нас забавлял, особенно когда танцевал на задних лапках.

Тетя Марэй была всеведущей, она была живым календарем политики, истории церкви и городов. Католический писатель-демократ Кристоф фон Шмид хорошо ее знал, как и пастор Кнейп. Было в ней какое-то особенное, тонкое обаяние; ее все уважали, она всем умела дать полезный совет, для каждого находила ласковое слово, исполненное юмора и доброты. Каждый день взбиралась она, хромая, в гору по крутой, узкой тропинке к расположенной в северной части городка монастырской церкви. А если в этот день в лепной диссенской церкви не было богослужения, тетя Марэй сворачивала на юг, по дорожкам между садами и домиками, к Св. Иоанну, близ кладбища; это то кладбище, где хоронят уже века обитателей Диссена, поколение за поколением, где есть и наш семейный склеп Штейдле и где нас, мальчишек, всегда тянуло взглянуть на черепа с надписанными на них именами покойников, которые из рода в род погребались в склепе.

На расписанных яркими красками древних стенах «домика усопших» изображены были рай, ад и чистилище — в манере, типичной для баварского лубочного барокко; живопись эта была обворожительно наивна и по-

этому для нас, детей, особенно понятна; она и поныне осталась для нас выражением чувств бесхитростно верующего, прямодушного человека, который благочестиво стремится сохранить гармоническое равновесие между своим внутренним и своим внешним маленьким миром.

Школьные товарищи

Когда мы кончили начальную школу, родители определили нас обоих в старшие классы реального училища на Зигфридштрассе. Они считали, что, в отличие от нашего деда и отца, мы не должны учиться только в гимназии, дававшей чисто гуманитарное образование. Значение, которое приобрели естественные науки (девятисотые годы были периодом важных открытий в этой области), развитие техники, повлекшее за собой появление новых профессий, — все это побуждало наших родителей выбрать для своих сыновей такую школу, которая обеспечивала бы им получение основательных знаний в естественных науках. Впрочем, так рассуждали во многих буржуазных семьях: родители наших школьных товарищей были офицеры, юристы, чиновники, ученые, а также, разумеется, и купцы, и фабриканты.

Школьные товарищи... Сколько воспоминаний, связанных с ними, всплывает в памяти! Сидя вместе — в тесном ли, в просторном ли классе, — мы спорили обо всем на свете: о книгах, технике, учителях, будущем призвании и, конечно, о любви (каждый из нас хоть раз был по уши влюблен в какую-нибудь сестру какого-нибудь своего товарища). Бывая в семьях товарищей, мы знакомились с самой различной средой: такой, где царила атмосфера, будившая мысль, или где преобладала бюргерская деловитость, а иногда встречалось и чванство.

Школьные товарищи... Какое множество имен, к которым я мысленно добавляю: погиб в Первую мировую

войну, погиб во Вторую мировую войну. Какое множество имен, за которыми следуют слова: исчез бесследно после 1938 года, после «Хрустальной ночи»¹, после 1941 года — начала массовых депортаций.

Незабываема последняя встреча с Гансом Пикардтом, другом по бойскаутским временам. Я направлялся к моему бывшему командиру, подполковнику барону фон Ридгейму; он тоже вернулся на действительную военную службу и был адъютантом генерала фон Эппа, гитлеровского рейхсштатгальтера в Баварии. Пикардт встретился со мной на Максимилианштрассе, сразу же остановил свою машину и подошел ко мне:

— Ты здесь, Польд? Как хорошо, что я еще могу с тобой поговорить. В последний раз, наверное. Мы должны уходить. Мы и другие: Вальтер Гислинг, Гейнеман, Гейльброннер и оба Валлаха. Никто не знает, что будет. Последний срок расплаты истекает...

Разве он не смотрел пристальным взглядом на мой мундир, мундир офицера, принесшего присягу Гитлеру? Я через силу произносил какие-то прощальные пожелания. Но что толку в пожеланиях, когда он вынужден был покинуть родину, жить обездоленным.

С тех пор я ничего не слышал о Гансе Пикардте, ничего о Гейнемане и Гейльброннере. Только с одним своим школьным товарищем я возобновил контакт: это Вальтер Гислинг; сейчас он профессор, живет в Цюрихе. Ему удалось эмигрировать в Швейцарию; там он оказывал помощь эмигрантам из фашистской Германии, так же как Гертруда Курц и Карл Барт. Он боролся за смягчение суровых законов об иммиграции применительно к евреям, бежавшим от гитлеризма; кроме того, он с Вольфгангом Лангхофом создал там комитет организации «Свободная

¹ «Хрустальная ночь» — в эту ночь (1938 год) по приказу Гитлера по всей Германии прошли еврейские погромы, что вызвало протесты во всем мире.

Германия». Таким образом, мы, ничего друг о друге не зная, оба были в рядах борцов против фашизма.

Как я уже сказал, между знакомыми нашего круга существовало весьма значительное расхождение в образе жизни, поведении. Отец Эугена Клепфера был богатым лесопромышленником. Но весь домашний уклад отличался простотой. Это нам импонировало, чего отнюдь нельзя сказать о доме семьи Хоэ с ее претенциозной чопорностью. В последний раз я был там на детском празднике в 1913 году. Взрослые да и кое-кто из молодежи явились в бальных туалетах. Подавали на стол слуги в ливреях. Маленький оркестр исполнял модную танцевальную музыку, вдобавок все комнаты были окутаны полумраком. Ни конфетти, ни серпантин, ни тем более хлопушки нам пускать в ход не дозволялось. Мой соученик Густав, облаченный в костюм с длинными синими брюками, молча сидел подле своей сестренки, которая гордо носила первые в ее жизни длинные — по локоть — лайковые перчатки. Нам полагалось отвешивать низкие поклоны и целовать дамам ручки. Все это было не про нас: даже шоколад и мороженое не могли настроить нас более миролюбиво. Из протеста против окружающей обстановки мы нарочно шумели, вели себя неприлично, воистину «по-мужицки», пока наконец вся эта комедия не прекратилась; вот тогда-то мы и устроили знатное побоище на улице подле Английского сада, швыряя друг в друга снежками, благо в Мюнхене, как бывает в это время, задул фен и принес оттепель. Мы вообще увлекались спортом, как зимним, так и летним. Долгие годы я был членом Мюнхенского ферейна водного спорта на Луизенштрассе (основан в 1899 году), в котором состоял и Иоганнес Р. Бехер. Позднее мы плавали попеременно то в ферейне, то в Мюллерше фольксбад на Изаре или — в летние месяцы — в Унгербад на Вюрмканале. Место это находится неподалеку от Бисмаркштрассе, где жил другой мой школьный товарищ; его отец — профессор

доктор Рихард, граф дю Мулен-Эккарт — был председателем мюнхенского отделения Пангерманского союза¹. Правду сказать, домой я оттуда нарочно возвращался с опозданием. Приятелю моему Мулену, длинноволосому, как девчонка, разрешалось держать у себя в комнате двух обезьянок. Но какой вид имела эта комната, лучше не спрашивать! Достаточно сказать, что весь дом пропах обезьянами. Джекки — так, кажется, звали моего школьного товарища — был ленив до того, что его, как говорится, хорошо бы по смерть посылать, к тому же долговяз и весьма неуклюж, хотя мог бы помериться силой с медведем, а вдобавок был тираном всей семьи.

Как и мы, был бойскаутом сын генерального секретаря Пангерманского союза, адвоката Фердинанда Путца, но, к сожалению, у него совершенно отсутствовало чувство юмора. Кроме того, он всегда был первым учеником, и его вечно ставили нам в пример. Это было ужасно!

Своеобычную группу в кругу наших друзей составляли юноши, ставшие позднее художниками: Макс Метцгер, Ганс Зоннтаг и Гюнтер Грасман, который после 1945 года был директором Художественного института во Франкфурте-на-Майне. Нашего профессора Эзекбека они много раз ставили в тупик, ибо, нарушая все общепринятые каноны рисунка и акварельной живописи, лихо экспериментировали с помощью кисти и камышового пера, мела и угля, а затем заняли первые места на экзаменах по рисованию в обоих параллельных классах. Каждое воскресенье их можно было увидеть в художественных галереях, даже если им пришлось накануне участвовать в очень утомительных бойскаутских тренировках. То было время, когда Марк

¹ Пангерманский союз — реакционная шовинистическая организация, созданная в 1891 г. наиболее агрессивными представителями германской буржуазии, ставила своей целью разработку плана борьбы за мировую гегемонию Германии.

Шагал и Кандинский эпатировали консервативную буржуазию своими причудливыми творениями. И так же независимо и самобытно, как развивались мои друзья в сфере искусства, они создавали для себя и свою маленькую богему. В их мастерской на Георгенштрассе было столько воздуха, целый день так чудесно светило солнце, а из окон далеко виднелись сады за зданием Академии художеств.

В буржуазной юношеской организации

Большинство нашей молодежи находилось в полном неведении о том, на какой опасный путь политического развития вступила в описываемые годы Германия. Однако брожение умов и недовольство существовали и среди нас. Молодое поколение искало выход из тисков школьной муштры, из пут догматических представлений о морали, из неправды окружающего мира, который основывался на «житейской лжи». Подтверждение своего подчас еще неясного протеста эта молодежь находила в творчестве тех художников, которые мужественно порывали с устарелыми формами и выступали против буржуазного мира. Правда, буржуазия по этому поводу была тревогу, устраивала скандалы на театральных спектаклях и обструкции в картинных галереях. Но молодежь с восторгом присоединялась к протесту людей искусства против традиций, против закоснелых форм образа жизни и образа мыслей.

Мы с братом избрали путь бойскаутского движения, которое было очень близко по духу английским бойскаутам. А те получили боевое крещение во время Англо-бурской войны. Создание этой полувоенной организации тогда сознательно поощрялось, так как она служила подкреплением ударной силы регулярных английских войск, которые зверски расправлялись с местным населением, боровшимся против своих угнетателей-европейцев.

Мы тогда ничего не знали об этом. Примкнули мы к бойскаутскому движению потому, что оно — как и другие союзы молодежи — поощряло независимость действия и взглядов, воспитание мужества и самоотверженности; оно стремилось, в силу самой структуры этой организации, уважать волю молодежи к личной ответственности за свои поступки, ее желание свободно принимать решения. «Молодежь вольна собой распоряжаться!» «Молодежь сама создает свои законы!» С этими требованиями выступали даже в университетских аудиториях, их поддерживал Немецкий академический вольный союз, который, впрочем, был решительным противником студенческих дуэлей.

В то время буржуазное юношеское движение раскололось на несколько крупных и мелких групп. Правда, в связи с празднованием годовщины Битвы народов 12 октября 1913 года¹ часть этих групп и группок присоединилась на Хоэр-Мейспер к так называемой Свободной немецкой молодежи, однако это не снимало внутренних противоречий в юношеском движении. Даже у нас, бойскаутов, вполне можно было столкнуться с высокомерием и сознанием своей исключительности; так, например, бойскауты свысока относились к «ветеранам» юношеского движения — «юным туристам». Но решающим для моей жизни явилось то, что я рос здесь в коллективе, где не было никаких узких религиозных рамок, где как будто никакой роли не играли догматическая косность и некоторые предрассудки. Здесь, у бойскаутов, неизменно стояли плечом к плечу католики и лютеране, и они хотели участвовать в одном общем деле с еврейскими друзьями и с теми юношами, которые не были воспитаны родителями в религиозном духе.

¹ Битва народов — сражение союзных и русской армий против Наполеона I у Лейпцига 12 октября 1813 г.

Помню и сейчас, с каким воодушевлением я, пятнадцатилетний подросток, будучи бойскаутом, воспринял столетнюю годовщину, юбилей 1813—1913.

Ощущение своей слитности с тысячами других юношей, стоявших вокруг Бефрайунгсхалле у Кельгейма, вызывало во мне прилив патриотической гордости. Помню как сейчас чувство это пробудилось во мне именно потому, что здесь — в чем участвовали и мы — отдавалась дань духу того времени, когда немецкие воины в союзе с другими народами шли на подвиг во имя всеобщего спасения, сражались на поле битвы под Лейпцигом, страдали и (во что я тогда твердо верил) победили. Только дожив до зрелых лет, я понял, что народ обманули и в 1813 году не ему достались плоды его героизма и самоотверженности.

Не обошлось и без ура-патриотизма, на грани этого было многое из того, что происходило во время столетней годовщины Битвы народов. Мне это ясно не только сейчас, когда я оглядываюсь на прошлое; кое-что я и тогда смутно понимал. Так, например, нас возмущало щеголяние лихой выправкой, какое было свойственно Баварскому боевому союзу. Не вызвали в нас большого восторга и проведенные накануне учения на местности. Это были уже не наши бойскаутские игры, как называли мы наши рекогносцировочные задания, а военные учения, которые, в сущности, представляли собой скромное подражание военным маневрам.

Мы хотели воплотить в действительность идеи, принятые нами у Фридриха Вильгельма Ферстера, у Густава Винекена, хотели сделать мир лучше... И все же великое испытание мы не выдержали. В 1914 году немецкая молодежь, несмотря на скептицизм, проявленный ею несколько лет назад, поддавалась ложному патриотическому пафосу кайзеровской Германии. Она не отдавала себе отчета ни в целях, ни в агрессивном характере своего государства; она верила, что служит отечеству, когда

со словами «Германия превыше всего!» истекала кровью в воронках от снарядов, на минных полях и проволочных заграждениях.

Перед тем, кто вернулся живым после «войны техники» — после Первой мировой войны, — встали вопросы, на которые нужно было ответить только совершенно реалистически и трезво, если он не хотел прятаться от действительности, бежать от нее в некий им созданный мир иллюзий.

Присущая Веймарской республике двойственность отражалась на юном поколении буржуазии и ее союзах молодежи. А кончилось тем, что туда получил свободный доступ даже губительный яд реакции и чрезмерное возвеличивание «народнической идеологии», а тем самым и фашизм. Однако, к слову сказать, немало участников буржуазного юношеского движения пали как герои на «фронте обреченных», на плахе. Таковы Адольф Райхвайн и Теодор Нойбауэр: называю их как олицетворение подвига многих.

О целях, путях развития и перспективах юношеского движения мы горячо спорили и в годы пребывания в Советском Союзе. Особенно интересовало это наших советских товарищей, для которых вообще было важно узнать возможно больше обо всем, что могло бы иллюстрировать идейный и душевный мир немецкой молодежи и позволило бы найти объяснение ее приверженности — подчас фанатической — фашизму. Материал для таких бесед давал мой опыт пребывания в бойскаутской организации, а позднее, после первой войны, в католическом союзе молодежи «Квикборн» («Кипучий родник»).

Во время Первой мировой войны и после нее мы, участники буржуазного юношеского движения, еще не уяснили себе, что одних лишь благородных намерений и обязательств выполнить общепринятые требования морали недостаточно для того, чтобы изменить условия существования. Мы не понимали, что традиции, кото-

рых придерживалось буржуазное юношеское движение, могут вовсе сбить нас с пути. И нас, в сущности, почти ничего не связывало с рабочим классом. Нам были чужды его теоретический базис, его взгляды на общество, политические и социальные идеи, самые пути к осмысленной жизни, которые он мог открыть перед молодежью. Напротив, в буржуазных юношеских организациях существовало сильное предубеждение против коммунизма, а «Интернационал проповедников всеобщего мира» рассматривался как акт измены отечеству.

Поэтому я с особенным волнением узнал, что даже мой сотоварищ по католическому юношескому союзу, Лео Вайзмантель, служивший тогда для меня образцом, преодолел после горестных уроков Второй мировой войны эти предубеждения и открыто выступил против поджигателей новой войны, против милитаризма и неонацизма. Подобно тому, как в двадцатых годах, выступая в замке Ротенфельс, в самом популярном месте конгрессов католических юношеских союзов, Лео Вайзмантель говорил с молодежью о самых насущных тогда вопросах, так и в 1945 году он говорил с молодежью о насущных вопросах сегодняшнего дня: об обеспечении мира во всем мире, об очаге опасности в самом сердце Европы — западногерманском государстве — и о дружбе между немецким народом и народами Советского Союза.

Дядя Краус

Сколько раз в годы 1909—1914, до начала Первой мировой войны, ездил я на велосипеде между Швабингом и Нимфенбургом по казавшейся мне нескончаемо длинной улице к дядюшке Краусу, на Тицианштрассе, за Нимфенбургским каналом. Туда и обратно... Дядя Краус был старым другом моих родителей еще по Вюрцбургу, военным судьей в отставке, так что с моим отцом его связывали общие интересы.

Когда его жена — мы звали ее тетей Кэти, и носила она всегда кружевную наколку на волосах, порой черную, порой белую, а иной раз и черно-белую, и всегда темное платье с каким-нибудь на редкость красивым драгоценным украшением у ворота, отделанного рюшем, — так вот, когда тетя Кэти ставила передо мной чашку с шоколадом или с горячим молоком и медом, а дядя рассказывал, как бывало, о каком-нибудь из своих бесчисленных путешествий по Италии, тогда мне чудилось, будто я попал в совсем другой мир. Мне позволялось сидеть рядом с дядей Краусом в глубоком кресле, так что я мог без помехи спокойно его разглядывать.

Он был мне настоящим дядей, который вникал во все мои дела. У него всегда находилось для меня время. Никакой заданный мною вопрос не казался ему излишним или непозволительно любопытным. Напротив, его интересовало все, и отвечал он всегда очень продуманно, подчас шепотом и медленно выговаривая слова, с юмором, а иной раз чуть иронически, но доброжелательно и так захватывающе интересно и подробно, что мне все становилось понятно.

Но самое приятное было рыться с разрешения дяди Крауса в его сокровищах, которые он накопил во время своих несчетных путешествий. Нередко я раскладывал перед собой на столе или на диване целые серии фотографий: снимки Корфу и Сицилии, раскопок, давнишних и современных. И все тогда представало передо мной как живое: рыбаки с их суденышками, жизнь и быт в портах побережья пролива, отделяющего Сицилию от Италии, архитектура, гигантские акведуки, термы, Помпея и Геркуланум.

А однажды я разыскал открытки с видами городов на Ближнем Востоке, где обитали многие мои родственники: жили они из рода в род в Константинополе, в Пальмире, на Кипре, в Смирне. В Палермо умер от тифа отец моей матери по дороге из Каира в Мильтенберг-на-Май-

не. С Востока были привезены все интересные вещи в нашем доме: ковры на стенах, висячие медные лампы времен Османской империи, оружие и ножи, диковинные трубки для курения табака через воду — они называются наргиле — и большая икона с массивным золотым окладом.

Письменный стол дяди Крауса стоял неподалеку от моего рабочего места, для которого я приспособил диван и стоявший перед ним низенький столик. И когда у меня вырывался глубокий вздох и лицо заливалось краской — оттого ли, что я увидел и узнал, от страха ли при мысли, что время летит так быстро и мне вот-вот надо уходить, — тогда дядя Краус вскидывал на меня глаза, словно хотел о чем-то спросить.

Дядя Краус редко мешал мне сидеть вот так, углубившись в себя. Но гораздо чудеснее было то, что он обращался со мной как с взрослым.

— По-твоему, эта девушка хороша собой? Так же хороша, как эта маленькая копия греческой Береники? Ах так, ты не знаешь, что это слово значит? Несущая победу!

И он тут же протягивал мне стоявшую на его письменном столе изящную копию.

— А может, тебе нравится эта хрупкая фигурка этрусской девушки вон там, на книжном шкафу?

И если он при этом поглядывал на жену и тетя Кэти понимающе кивала, мне начинало казаться, что он одобряет мое увлечение — одно из увлечений моей юности: влюбленность в сестру школьного товарища.

Дядю Крауса у нас в семье считали «безбожником», зато жену его — «глубоко религиозной». Отец говорил об этом откровенно, при всех, озабоченно хмурия лоб. Сестра моя слышала, как родители обсуждали между собой, хорошо ли, что я так часто бываю в Герне. Встречи эти и правда могли, вероятно, пробудить во мне такие представления о действительности, которые были чужды моим родителям, придерживавшимся иных принци-

пов в воспитании своих детей. От дяди Крауса я впервые узнал кое-что о масонах: он сам был членом масонской ложи. Как мне впоследствии стало известно, для отца этот шаг его друга был еще одним доказательством того, что и в офицерском корпусе, в самой сердцевине армии, и даже в баварском королевском доме гнездятся эти разлагающие элементы, как называл отец масонов, — вот почему и нет на них управы.

Дядя и тетя Краус нередко бывали у моих родителей в Видерштейне, сидели с ними в саду или гостиной. Мужчины вели нескончаемые споры о различных проблемах, «вентилювали», как выражался отец, политические вопросы; при этом нам часто приходилось слышать имена и названия, упоминавшиеся в этих беседах: Каприви, Бисмарк, Агадир, Гельголанд. Бурные дебаты кончались лишь тогда, когда беседа касалась той сферы, где оба спорщика оказывались на общих позициях: искусство и его восприятие. Впрочем, оба — и каждый на свой лад — отстаивали то, к чему питали особое пристрастие: отец восторгался Тицианом, Майолом или Лембруком, а дядя Краус — Боттичелли, Донателло и своими любимыми голландцами. Дамы покамест шепотом разговаривали о чем-то своем, мы сидели подле них, что нам разрешалось при условии, если мы будем сидеть смирно.

В моей памяти вновь оживает обстановка нашей небольшой гостиной: посреди — стейнвейновский рояль; на стенах — картины, написанные маслом, Гальберга-Крауса, дюссельдорфского профессора Гутштейнера и «Вознесение Богородицы» — вышиною почти в два метра — как бы господствовало над всей комнатой и, несомненно, было боковой створкой алтарного триптиха в стиле барокко, украшавшей прежде дом моего прадеда на Аммерзее.

Дядя Краус умел рассказывать увлекательно, выразительно, пылко. До сих пор помню, какое сильное впечатление произвел на меня один разговор с ним, когда

он объяснил мне, кто такой Данте, бюст которого, почти в натуральную величину, стоял в углу его кабинета, на колонне из черного эбенового дерева. На дядю Крауса нахлынули старые воспоминания о Флоренции, он так и сыпал именами и терминами, уснащая речь итальянскими, французскими и даже греческими словами и оборотами. А у меня наперекор всему образ Данте ассоциировался с миниатюрой, изображавшей Лафатера, которая висела подле отцовского письменного стола.

С портретами у меня вообще происходила какая-то путаница. Прошли годы, пока я понял, что человек в золотом шлеме вовсе не князь Бисмарк — человек, о котором мой отец у нас дома не раз говорил с такой резкостью, упоминая о его вызывающей позиции по отношению к католицизму, о культуркампфе, о высокомерном характере его политики, о его стремлении играть руководящую роль всюду, в том числе и в Баварии.